

Булат ОКУДЖАВА

ВЫПИСКА ИЗ ДАВНО МИНУВШЕГО ДЕЛА
рассказ



IM WERDEN VERLAG
МОСКВА - AUGSBURG 2004

Печатается по книге: Булат Оқуджава. Капризы фортуны. Екатеринбург. 2002

© Булат Оқуджава (наследники), 2004

© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. 2004

<http://www.imwerden.de>

info@imwerden.de

Бывший генерал госбезопасности Филин служил оргсекретарем в Союзе писателей. Он относился к Ивану Ивановичу с большой симпатией, видимо, как к сыну человека, погибшего в тридцать седьмом, да и сам он хлебнул в свое время девятилетнего заточения в лефортовской одиночке.

По рассказам знатоков, это была страшная тюрьма, и в глазах Ивана Ивановича генерал вырос до сказочных размеров, и чувствовал это, и, бывало, даже кокетничал своим прошлым. Но независимо ни от чего, от всех споров вокруг Ивана Ивановича, от непривычного жанра, которым тот занимался, от этого вселенского шухера, Иван Иванович ему нравился не назойливостью, скромностью, своей причастностью к фронтовым делам, а может быть, и еще какими-то там достоинствами. Конечно, его не покидало чувство настороженности, когда он думал об Иване Ивановиче, какая-то тревога не давала ему покоя: ведь он нес ответственность за этого еще молодого члена союза, и это все отражалось на его крупном лице.

Но не только эти чувства обуревали генерала. В нем соединялись в горючую отравляющую смесь застарелый большевизм, теперь уже выглядящий показным, лозунговым и ортодоксальным, с природной прозорливостью и большим горьким опытом, и они подсказывали ему, что привычная основа прогнила, что где-то маячит крушение, что святые догмы, которые он проповедовал, просто догмы, а может быть, и ложь. И это тоже отражалось на его лице.

Так вот, Иван Иванович ему был симпатичен, и его песни, прослушанные с магнитофона вдвоем с женой, вполне интеллигентной женщиной, не вызвали ничего предосудительного и даже нравились. Но это было дома, а в служебном кабинете иные постулаты руководили им, и мерещились пессимизм, и упадок, и вседозволенность, и опасные отступления от узаконенных и привычных правил игры в том смысле, что «если все начнут себе позволять, то что же получится!..».

Иван Иванович при всем своем легкомыслии, видя белое, напрягшееся лицо генерала, нисколько не обольщался на его счет. Он догадывался, что дружеское расположение Филина тотчас же погаснет, как только ему скажут, ну, к примеру, Ивана Ивановича арестовать или, скажем, расстрелять. Но пока команды не было, оргсекретарь ничего такого не допустит, а будет опекать и терпеливо накапливать информацию, и меж ними будут порхать и совершенствоваться дружелюбные улыбки.

И вот однажды Иван Иванович зашел как-то в Союз писателей и тут же у входа столкнулся с оргсекретарем. У того лицо сразу сделалось крайне озабоченным, а в бледно-голубых глазах засверкала тайна. Он многозначительно поманил Ивана Ивановича за собой.

В просторном старомодном кабинете генерала царила официальная тишина, и Иван Иванович, усевшись в кресло, не предполагал, о чем пойдет разговор. То есть ничего приятного он, конечно, не ждал: для приятных разговоров сюда почти не приглашали. Резкие движения генерала, его молчание, пока он возился в сейфе, ничего хорошего обещать не могли. Но вот он наконец распрямился и высоко и как-то несколько торжественно поднял над головой грампластинку.

— Ну, что скажешь? — задохнулся он, и в этом вопросе было торжество, но и скорбь, и даже осуждение.

— Что это? — не понял Иван Иванович.

— Твоя пластинка! — выпалил генерал и потряс диском, словно уликой.

— Какая пластинка?! — закричал Иван Иванович, не смеявший о таком и мечтать.

Действительно, хотя он уже был известен и даже кое-где выступал полуправильным образом, но его песни никак не совпадали с укоренившимся представлением о том, какой должна быть песня. Поэтому и о пластинках мечтать он не мог, а тут вдруг его пластинка, да к тому же с его большим портретом, мелькнувшим над головой генерала и исчезнувшим тотчас. — Как же она вышла без меня? — И он наивно рванулся со своего кресла, чтобы приблизиться к этому волшебному предмету, к этому чуду, чтобы прижать его к груди, погладить, насладиться...

— Сиди, — прошипел генерал и вознес диск еще выше.

— Почему же вы не дадите мне посмотреть? — возмутился Иван Иванович. — Откуда она?..

— Правильный вопрос, — усмехнулся генерал, — она откуда, — и кивнул в сторону, — оттуда... а на ней твои песенки, — и покачал головой.

Иван Иванович как дитя своего времени тотчас понял, что означает этот кивок. Он означал, что пластинка не отсюда, не с улицы, не из магазина, а оттуда, из потустороннего мира, из заграничных недр.

Он вздрогнул и спросил с тоской:

— А мои ли песни?

— Твои, — мрачно усмехнулся генерал. — Вопрос в том, как они туда попали...

— Не знаю, — сказал Иван Иванович, — я не передавал... мало ли как. Везде по рукам ходят записи, мало ли...

Филин вновь покачал головой.

— Кто же это выпустил мою пластинку? — спросил Иван Иванович слабым голосом.

— Неужели не понятно? — усмехнулся оргсекретарь, и его бледно-голубые глаза расширились до предела, и свистящее, зловещее «ЦРУ» слетело с аккуратных генеральских губ.

Тут Иван Иванович перепугался не на шутку. Он ведь был, повторяю, дитя своего времени, и если сначала диалог с генералом казался ему вольной пробежкой по синему лугу, при которой генерал двигался большими скачками, чтобы схватить пластинку как замечательную улику, а он, Иван Иванович, трусил мелкой рысцой, чтобы прижать ее к сердцу, если сначала это представлялось таким, то теперь он почувствовал себя в западне.

Рассказывали сведущие люди, что генерал хоть и не служил уже в органах госбезопасности, но держал в своем домашнем шифоньере хорошо отутюженный генеральский мундир и доверительно демонстрировал его самым приближенным к нему писателям. Да, он теперь был генералом в отставке, но жестами, интонациями, намеками, многозначительными усмешками пытался внушить окружающим, что бескрайне осведомлен об их жизни и образе мыслей. С умными это не проходило, ибо умные на то и умные, чтобы вовремя притворяться дураками. Глупые же разевали рты и распространяли о генерале фантастические легенды. Иван Иванович был не слишком глуп, чтобы поверить в интерес, проявляемый американской разведкой к его песням, но, во-первых, представлял себе возможность злостной интриги, а во-вторых, был оглушен самим фактом появления вождя диска и готов был разрыдаться от одной мысли, что где-то там вышла эта большая, красиво упакованная его мечта, к которой он теперь не вправе прикоснуться!

— Эту провокацию, — сказал оргсекретарь, запрытав диск в сейф, — совершил матерый шпион, агент ЦРУ, известный под именем Джон Глофф, — и бросил небрежно: — Мы этим сейчас занимаемся...

О это «мы»!..

Иван Иванович кивнул, с удивлением отметив, что страха нет. То есть его не то чтобы совсем не было, но радость, ощущение успеха преобладали над тревогой и страхом.

Генерал делал большие глаза и пристально всматривался в Ивана Ивановича, но Иван Иванович кивал согласно и себя не выдавал.

— А где это вышло? — спросил он как бы без интереса.

— В Лондоне, — презрительно процедил Филин.

Показалось несколько несообразным сочетание американского ЦРУ и английского Лондона, но лишь на мгновение, а потом Иван Иванович уже представлял себе, как он придет домой и скажет своей молодой жене: «А знаешь, у меня вышла пластинка за границей. Большая пластинка...» «Где?!» — вскрикнет она, пораженная. «В Лондоне», — ответит он небрежно.

Вышел он от генерала с легким чувством. Страх как не бывало. Ликование оказалось сильнее: «Вот сука цереушная, какой подарочек преподнесла!» И он поразил свою молодую жену сообщением. Был семейный праздник. Его жене, Ангелине Петровне, было двадцать три года. Она была человеком, не искушенным в литературных тонкостях, и хотя обрадовалась пластинке, но восприняла это как должное, ибо гений Ивана Ивановича был достоин и большего, чем эта заурядная заграничная пластинка. Иван Иванович пытался объяснить ей, сколь чрезвычайен этот факт, но преуспел не слишком и махнул рукой.

Но это было, как оказалось, лишь самое начало истории, за которой последовало совершенно непредсказуемое продолжение.

Возбужденный эйфорией победы, Иван Иванович уехал в Ялту, в Дом творчества писателей. Он уехал туда, в тишину, писать стихи, которые уже почти сложились в его голове, и придумывать к ним мелодии. Это было впервые, что он просил путевку в качестве члена союза, и у него не хватило решимости попросить и для Ангелины Петровны. Она отнеслась к этому с пониманием, хотя расставаться не хотелось.

Иван Иванович наслаждался ялтинским житьем, весной, работой, но скучал по молодой жене и досадовал на себя самого за излишнюю щепетильность: большинство писателей приехали с женами. Он ежедневно звонил ей и клялся, что в следующий раз они непременно поедут вместе. Она смеялась в ответ и утешала его... Но однажды обычно счастливый ее голосок прозвучал тревожно и опустошенно. Она говорила задыхаясь. Ее рассказ состоял из недомолвок и намеков: какой-то телефонный звонок и женский голос с сильным иностранным акцентом, странные предложения... Лондон... Москва... Ленинград... Густой туман из страха и отчаяния клубился меж Ялтой и Москвой. Она не знала, как поступить, и не то спрашивала совета, не то сама расточала нервные советы, и перед Иваном Ивановичем сразу же померкли приморские пейзажи. Сначала он пытался превратить все в шутку, чтобы вывести ее из состояния шока. «Ты фантазируешь», — сказал он. «Я не фантазирую, — совершенно спокойно ответила она, — просто это не телефонный разговор...» «Это что, опасно? — спросил он, мрачней. — Действительно опасно?» Она снова пыталась ему что-то объяснить, и вдруг он понял, что ее иносказание имеет отношение к английской пластинке...

Он целый день ходил сам не свой. Долгий путь его собственной жизни вновь, уже который раз, открылся перед ним. В словах, в интонациях Ангелины Петровны он расслышал знакомое предупреждение о давней, привычной угрозе. Да, вдруг вспомнилось: и отец, поставленный к стенке в тридцать седьмом году, и мать, вернувшаяся к жизни после почти девятнадцати лет лагерей и ссылки. И все это был и его опыт. Он всегда страшился нового крушения, он презирал себя за мелкую дрожь в коленях и, благословляя вождьеленный грампластинный диск, первый в его жизни, еще не тронутый им, но уже существующий в природе, ненавидел желтолицего неведомого заморского шпиона с искаженной мордой, внесшего сумятицу в его жизнь.

Вечером жена позвонила снова. Она ждала совета. Сквозь помехи и ее наигранное спокойствие до него постепенно дошла суть происшедшего.

...Ей позвонила женщина. Она говорила с сильным английским акцентом. Она отрекомендовалась женой этого шпиона, то есть она сказала, что она жена господина Джона Глоффа, который издал диск господина Отара Отарыча. Ее муж издает журнал и выпускает книги

подпольных авторов, и она приехала, чтобы увезти из России рукописи подобных книг. Она надеется, что жена Отара Отарыча приготовит ей что-нибудь интересное из запретных произведений Отара Отарыча (какая жалость, что самого Отара Отарыча нет в Москве!), если, конечно, Отар Отарыч не побоится последствий. Ангелина Петровна, теряя сознание от страха, с гордостью завершила иностранную гостью, что ее муж ничего не боится. Боялась ли она? Боялась, боялась, вспоминая время от времени, что и ее отец сидел когда-то в свердловской тюрьме. Боялась, как боялись все, чьи гены были отравлены давним страхом. Какие лица белели!.. Несмотря на более благоприятные времена и всякие шумные разоблачения вчерашних преступлений, какие сердца содрогались!..

— Я тут имею разный адресе, — сказала гостя, — беру там тоже рукопис, а потом прихожу здесь, у вас, суббота, эт севен оклок, о'кей?

— О'кей, — сказала Ангелина Петровна побелевшими губами и уронила трубку.

И вот она повествовала все это с помощью различных иносказаний и намеков, и ее дрожь долетала сквозь тысячи километров, и он сам начинал дрожать и сокрушаться, что вот она там, молодая, вовлечена в это безумие, бедняжка, и он сам теперь непонятно кто: то ли преступник, то ли ответчик за чужие грехи...

— Слушай меня! — закричал он в трубку. — Немедленно иди к Филину. Пусть Филин этим занимается. Это его работа. При чем тут мы с тобой?!.. Кто? Ну генерал, наш генерал, поняла? У нас в союзе... Пусть он сам расхлебывает!..

— А если это хорошая женщина? — трезво прошелестела Ангелина Петровна.

— Ничего себе хорошая... — крикнул он из ялтинского рая. — Я знаю, как это бывает!

— Но ведь это похоже на предательство, — вновь прошелестела она, и он отчетливо увидел ее плотно сжатые прекрасные губы.

— Нет, нет, делай, что я говорю! — потребовал он. — Еще этого не хватало, чтобы мы занимались шпионами!..

И она отправилась к генералу.

— Это жуткий шпион, — сказал Филин, перебирая бумаги в ящике стола, — мы его давно знаем. Мерзавец, каких свет не видывал. Он неспроста прицепился к Отару Отарычу, — и с интересом посмотрел на Ангелину Петровну, сидящую перед ним на стуле в независимой позе и с бессилием в зеленых глазах. Она рассказала ему ситуацию. Филин был рад помочь молодой семье.

— Какая наивность! — воскликнул он, но без осуждения. Азарт профессионала бушевал в нем. Он продолжал с неистовством перебирать бумаги. Она хотела сказать ему, чтобы он прекратил это неучтивое занятие, но, конечно, сдержалась. Внезапно он успокоился, уставился на нее и сказал игривым шепотком: — Мы с нею поступим так. В субботу к вам придет наша женщина. Вы ее отрекомендуете вашей родственницей, ну, допустим, тетей, да? — Она покорно кивнула. — Ну вот, значит, придет ваша тетья, и вам уже ни о чем беспокоиться не нужно...

Ангелина Петровна вообразила себе женщину с большим револьвером в руке. Звуки короткой борьбы и торжествующие восклицания.

Она поведала это генералу будто бы в шутку, с изысканной насмешливостью, но оргсекретарь прыснул.

— Насмотрелись шпионских фильмов? — спросил он по-родственному. Она кивнула удрученно. Взаимопонимание было полное.

Нервы были на пределе. Тоскливая мыслишка о предательстве время от времени покалывала Ангелину Петровну, но тут же гасла. То ли не хотелось уже об этом думать, то ли генеральский азарт передался ей — понять было трудно. Во всяком случае в субботу, ровно в шесть часов вечера, в дверь позвонили, и в квартиру вкатилась немолодая, улыбчивая и довольно свойская дама с бородавкой над верхней губой.

— Вас как, Гелечка или Алечка? — спросила, вытирая в прихожей ноги.

— Называйте Ангелиной, — строго предложила Ангелина Петровна.

— Ах, ну Ангелина так Ангелина, — легко согласилась «тетя», — красивое имя.

Она уселась в комнате на предложенный стул, огляделась, улыбнулась. Поигрывая бородавочкой, спросила:

— А наша-то к семи обещалась? Ну подождем. Вы делайте свои дела, а я огляжусь пока что...

Ангелина Петровна уселась напротив и, хотя понимала нелепость своих предположений, все-таки пыталась высмотреть у гостьи оружие. Но у той все было пристойно, буднично, затрапезно.

— Хорошо бы мне тапочки какие-нибудь, — сказала она.

Ангелина Петровна принесла ей тапочки. «Тетя» переобулась. Быстренько, как старожилка, снесла свои туфли в прихожую.

— А здесь что у вас? Ах, ванная. Как у меня. А раковина большая. Наверное, в «Сантехнике» брали? А у меня все времени нет. А здесь туалет, да? Ну, конечно. — И засмеялась. Кухня ей понравилась. — Вы мастерица, Ангелиночка... Ну надо же, такая маленькая кухонька, а какой уют! — И вздохнула. — Вот говорят, того нет, другого нет, это нужно, то нужно, а нужен-то вкус, да?

Ангелина Петровна нервничала, но виду не подавала. Больше всего она боялась стрельбы. Глядя на веселую бородавочку гостьи, почти мушку, она хотела спросить: «Давно ли вы этим занимаетесь?» Хотела спросить, но, конечно, не посмела, лишь губы скривила слегка.

Пробило семь. Никто не появлялся. Напряжение усиливалось. Уже впоследствии, слушая эту историю, Иван Иванович и сам приходил в возбуждение, словно непосредственный участник, и, не сдерживаясь, выпаливал Ангелине Петровне всякие несогласия: и то она делала не так, и говорила совсем не то. Затем, видя ее расстроенное лицо, великодушно соглашался. В своем прекрасном ялтинском раю он был избавлен от лицемерия многозначительной мушки случайной «тети» и не слышал ее благополучного, равнодушного голоса.

— Наша-то припаздывает, — сказала она, — на иностранку-то ну просто не похоже...

Ангелину Петровну вновь посетила болезненная мысль о предательстве. Что же до Ивана Ивановича, то он то ли лукавил и тешил собственный эгоизм, то ли оберегал покой молодой, неискушенной супруги... Где уж тут разобраться.

— Припаздывает, соколица, — сказала «тетя». — Она обо мне, конечно, не знает? — спросила как бы случайно и уставилась в зеленые, широко распахнутые глаза Ангелины Петровны.

— Конечно, — ответила Ангелина Петровна с вызовом. Ей вдруг послышалось, как звякнуло что-то железное. В который уж раз она украдкой тщательно изучила все выпуклости своей новой знакомой. Ничего подозрительного не было в пухлых, уютных формах пожилой дамы.

В восемь зазвонил телефон, и жена шпиона громко, отчетливо и с некоторым даже ликованием прокричала в ухо Ангелине Петровне:

— Айм сорри, я не могу приходить, бикозу меня поезд ту Ленингред, вы понимайль?.. Я имею большой кофр разний рукопис разний диссидент, о! Это хороший сувенир для мой хазбэнд... Ба-бай, сорри...

— Вы уезжаете? — в прострации спросила Ангелина Петровна.

— Ее, айм сорри... Завтра буду Ленингред, там есть новый рукопис, а эт ивнинг пароход Хельсинки ууууууу... Ба-бай! До свидания, — сказала Ангелина Петровна с облегчением.

«Тетя» сказала:

— Ага, вот и чудно. А завтра на Хельсинки? Ну и чудно, — и пошла в прихожую переобуваться.

— До свиданьечка, Линочка. Вы, если чего, — звоните...

Вечером из Ялты долетел голос Ивана Ивановича. Она постаралась его успокоить. О «тете» не упоминала. Об английской гостье сказала только:

— Полная идиотка: орет по телефону открытым текстом... Какой-то кошмар!

— Не расстраивайся! — крикнул из Ялты Иван Иванович. — Они ей покажут Хельсинки!.. — И вновь на мгновение мелькнула мысль о предательстве, но только на мгновение. Потом они поворковали, как водится, не подозревая, как эта история развернется вновь через каких-нибудь четыре года.

Засыпая, Ангелина Петровна пыталась избавиться от неясного чувства досады или даже вины в чем-то перед кем-то, но утешала себя тем, что гений Ивана Ивановича дороже козней и интриг. В последнюю минуту перед забытьем успела увидеть, как «тетя» бежит вдоль уходящего поезда и стреляет из револьвера по окнам международного вагона.

2

Жизнь Ивана Ивановича продолжалась с переменным успехом. О злополучной пластинке он старался не думать. Где-то в глубине души ему было радостно сознавать, что вот у него вышла пластинка, но радость меркла, она была отравлена, подпорчена зловецким источником ее появления.

И вот случилось так, что Иван Иванович с маленькой писательской делегацией очутился в Мюнхене. В Москве его предупреждали, что он едет в самое логово. Он, конечно, посмеивался, а приехав, не то чтобы испугался, но какая-то тревога все же сопровождала его.

Во всяком случае, когда утром в вестибюле маленькой уютной гостиницы «Леопольд», что на Швабинге, объявились люди с радиостанции «Свобода», он вздрогнул.

Было это так: сначала, оглядываясь по сторонам, шурясь в пустынное фойе, растерянно улыбаясь, предстал Юра.

— Я с радиостанции «Свобода», — глухо прошептал он, всматриваясь в лицо Ивана Ивановича. Иван Иванович оценил эту пронзительность и сказал, теряя сознание от неожиданности и страха:

— Здравствуйте... а что это вы все шепотом... и шепотом?

— Ну, я подумал, — прошептал Юра, — что, может быть...

— А что может быть? — бледнея, шепнул Иван Иванович.

— Нет, я в том смысле, — прошелестел Юра, — в том смысле, что не будет ли у вас каких-нибудь неприятностей...

«Будут», — подумал Иван Иванович, но сказал, изобразив улыбку:

— Стоит ли об этом?..

Юра отлично говорил по-русски. Мальчишкой он жил в Москве. Затем еще до войны выехал с родителями в Германию. Родители были русские немцы, и язык остался.

— Я ведь потому, — шепнул Юра, — что у вас к нашей конторе относятся... да?..

— Ну и черт с ними! — лихо прошептал Иван Иванович, чувствуя, как холодеет спина.

Затем из-за угла возникла Галя. Она напряженно улыбалась. В ее улыбке перемешались восхищение Иваном Ивановичем, и раскаяние, и радость встречи, и еще какие-то едва уловимые оттенки.

— О! — произнесла она очаровательным меццо-сопрано (он, бывало, слышал этот голос из того мира, слышал, его нельзя было не узнать, там он звучал призывно и властно, здесь — вкрадчиво и тепло), — мы так рады видеть вас здесь... вы не боитесь с нами общаться?.. Мы так любим ваши песни. У вас в группе не будут на это коситься? — Тут она тоже перешла на шепот: мимо прошел Борис Александрович — руководитель делегации. Он улыбнулся Ивану Ивановичу. Что же было в этой улыбке?

С ним, кстати, была связана следующая история. Год назад Ивана Ивановича как-то, видимо по недоразумению, включили в делегацию писателей, едущих в Австралию, по приглашению австралийцев, на какой-то там литературный фестиваль. Конечно, фамилию Ивана Ивановича в аппарате ЦК из списков тотчас вычеркнули. Иван Иванович понимающе и обреченно вздохнул. Как вдруг Борис Александрович стукнул кулаком по столу и отказался от поездки тоже. Что это было? Старый коммунист, известный литературный критик был ортодоксальным марксистом, но в то же время его натуральное пристрастие к литературе, к прекрасному, привитое, видимо, еще в гимназические годы, возвышало его над догмами, и политические предрассудки мягчели, а догмы становились преодолимее, и так далее, и тому подобное... И он стукнул кулаком по столу, а в те годы это был поступок, и Иван Иванович не мог не оценить его. Партийные чиновники поморщились, но уступили, ну, может быть, выйдя впоследствии из шока, и спохватились, и затаили зло, что было в их природе, а тут вот уступили, во всяком случае, дело было сделано, и Иван Иванович, преисполненный признательности к Борису Александровичу, отправился в далекую Австралию. А теперь вот был Мюнхен, куда Борис Александрович взял с собой Ивана Ивановича с легким сердцем. И страшно было его подвести.

— Засек, — шепнул Юра, провожая глазами седого критика.

— О! — воскликнула, пунцовая, Галя. — Теперь вас ждут неприятности?

— Пустяки, — бодро выдавил Иван Иванович, — кому какое дело, с кем я разговариваю...

— О, действительно? — прошептала Галя с облегчением и рассмеялась.

Оглядываясь по сторонам, они все трое пошли к выходу из отеля. Страх не покидал Ивана Ивановича, хотя внешне он держался невозмутимо. И это заставило его немножко призадуматься о том, не слишком ли неприлично выглядит его бравада, ибо даже при не очень-то внимательном взгляде хорошо видны его бегающие глазки, напряженные черты лица и дрожь, волнами пробегающая по телу. Но при всем при этом он шел с ними. Его распирало любопытство. Его лихорадило от непривычной ситуации. Он, словно игрок, погружался все глубже и глубже в загадочную трясину, и сладкую, и зловещую одновременно. Неведомая дотоле жажда риска обуревала его. Ему, оказывается, доставляло удовольствие хождение по краю пропасти. Но самым восхитительным было желание покрасоваться — нет, не перед публикой, а перед самим собой, перед самим собой...

— Вы еще рискнете с нами встретиться? — деликатно спросила Галя и запунцовелась.

— Если, конечно, ему не устроят проработку, — усмехнулся Юра.

— Можете не беспокоиться, — бодро шепнул Иван Иванович и очаровательно, из последних сил, улыбнулся, — да плевать мне на них!..

— Этот ваш критик, — шепотом спросила Галя, — он, конечно, генерал КГБ?

— Ну что вы! — рассмеялся Иван Иванович. — Старый интеллигент-марксист.

Она, кажется, не поверила.

— О? — И на тонких губах заиграла усмешечка.

— А уж Лотков — это точно, — заметил Юра.

— Да нет же, нет, — возбудился Иван Иванович, — он наивный провинциальный поэт...

Предсудительность поведения Ивана Ивановича была слишком очевидна. Эта вольность, эти «наплевать», эти фиги... «Хоть бы они исчезли!» — подумал он с радостным вдохновением, и они тотчас исчезли с надеждой на новую встречу.

И тут же возник Арнольд Лотков.

Головастый, широкоплечий, с грустными цыганскими глазами, молчаливый, добрый. «Как странно, — подумал Иван Иванович, — Мюнхен, Леопольдштрассе, Бавария, радио “Свобода”...»

Перед отъездом из Москвы Лотков спросил с ужасом:

— Старик, что ты знаешь о Мюнхене? Что там делается, а? Ну скажи, старик, что там, в этом логове? Ведь ты думал об этом, думал...

Иван Иванович тогда посмеялся. Сказал, пожав плечами, мол, там будет видно, чего голову ломать? Они тогда пошушукались, сверили информацию. Лотков выезжал за границу впервые, и сразу же в ФРГ! Его сведения об этом мире покоились на незамутненных представлениях пионерских лет. Он видел немецких рабочих на многочисленных баррикадах, рассекающих мрачный Мюнхен, и оголтелых неонацистов, штурмующих эти баррикады... Песни Эрнста Буша и круглое лицо Тельмана маячили перед его взором и занимали полсердца.

— Да какие баррикады! — зашипел Иван Иванович. — Ты что, рехнулся? Опомнись...

— Нет, старик, — виновато проворчал Арнольд, — не спеши с выводами... Я знаю...

В Германию они ехали поездом. Сначала тянулись за окнами привычные просторы России, и Арнольд безразлично озираал их. Затем впервые в жизни подкатила граница. Все было необычным. Затем загудели по Польше. Ну, Восточная Польша как-то не поражала: все было как у нас. Зато Западная, ее добротные дома, аккуратные полосы полей... И Арнольд прилип к оконному стеклу.

— Ого! — прошептал он. — Ну надо же!..

Затем потянулась чистенькая ГДР, ну, конечно, еще чище, чем Польша, еще добротнее. Лотков застонал еще пуше, отчаянней. Он не ел и не пил. Он всматривался и сравнивал. Лишь с наступлением темноты он наконец заснул, но, когда Иван Иванович пробудился утром, Лотков уже сидел у окна, и лицо его было ужасно от страдания. Потянулись пейзажи ФРГ, сверкали серо-синие автострады, божественные, словно нарисованные, леса, городки, все с иголочки, все на подбор, и большие города, словно только что сооруженные, и деревни выставочных образцов; неведомое приятное благоухание, казалось, распространилось по вагону, и Арнольд почти закричал: «О-о-о-о!» — тоскливо, как олень перед заклинанием. И вот в шоке, с выпученными глазами пересел он в Кёльне в местный поезд, и, пока катили вдоль берегов прекрасного Рейна, мимо старинных сверкающих замков по окрестным холмам, мимо самой Лорелай, сидел, низко опустив голову и тихо постанывая.

Теперь же он возник перед Иваном Ивановичем уже излечившимся от недуга; прожив в Мюнхене несколько дней, он излечился не до конца, конечно, но был уже вменяем, почти... Он даже посвистывал на ходу. Однако Иван Иванович, глядя на него, тотчас ощутил собственное преимущество, ибо, подойди к Арнольду ну тот же Юра и скажи он: «Я с радиостанции “Свобода”, — Арнольд Лотков все-таки грянулся бы бездыханным.

В руках он держал полиэтиленовые сумки, набитые всякими сувенирчиками, и, улыбнувшись, сострил по распространенному шаблону:

— Вот, разорил загнивающих капиталистов.

За покупками ходить было приятнее и легче, чем отвечать на многочисленных прессконференциях на вежливые, но острые, а часто и вовсе беспардонные вопросы мюнхенских журналистов и всяких эмигрантских старожилов, а Арнольд, наслаждаясь лицемерием витрин и прилавков, все-таки не забывал о предстоящих официальных встречах и морщился, и в цыганских его глазах возникала серая пленочка тоски. Конечно, когда распоясавшиеся интервьюеры задают провокационные вопросы и надо отвечать, а аргументов не хватает, то есть их просто нет, то нужно привирать, то есть выдумывать, а это стыдно и вызывает смех аудитории, но нужно выходить из положения, потому что предстоит ведь возвращаться в Москву, а там непременно спросят, и уж жалкие оправдания, мол, там, как выяснилось, дураков нет и прочее, приниматься в расчет не будут. Конечно, все это не способствовало раскованности и приятному времяпрепровождению, и Арнольд, входя во вкус западной жизни, тем не менее был напряжен и скован, и выражение испуга так до конца и не покинуло доброго цыганского лица. Действительно, ему доставалось покрепче, чем Ивану Ивановичу, потому что так уж сложилось, что Ивану Ивановичу задавали чисто литературные вопросы, ну, например, над чем он сейчас работает или как поживает Евтушенко, задавали, а сами ждали, когда он возьмет

в руки гитару и запоет. А Бориса Александровича и Арнольда спрашивали, не считают ли они Советский Союз тоталитарным государством, или не кажется ли им, что вся партия виновата в преступлениях перед народом, а не только Сталин или там Берия... Обычно критик отвечал с присущей ему ортодоксальной искренностью, и это как-то проглатывалось и не вызывало желаний спорить или злорадствовать, а над Арнольдом, над его страхом откровенно посмеивались и пытались даже загнать его в угол.

— Чем-то я этих белоэмигрантов возбуждаю, — жаловался он Ивану Иванычу в перерывах, утирая пот, — чего они, старик, на меня взъелись? Может, они за Сиваш мстят?

Теперь уже не неонацисты, а бывшие белогвардейцы вырисовывались в реальную угрозу. Стоило кому-нибудь незнакомому подойти к Арнольду и сказать по-русски, даже очень доброжелательно, даже сердечно, но по-русски: «Здравствуйте, господин Лотков», как Арнольд тотчас отскакивал и боязливо защищался ладошкой.

— Да ты его глаза видел? — говорил он Ивану Иванычу. — Что мне его улыбка? Глаза видел?.. Вот-вот ударит. Ты присмотришь, старик, присмотришь, ты не будь лопухом, я знаю... смеяться нечего...

Ивану Иванычу было Арнольда жалко.

Однажды в Регенсбурге, маленьком баварском городке, проводилась очередная встреча. Предполагалось, как обычно, что Борис Александрович и Лотков ответят на главные вопросы, а Ивана Иваныча, кроме того, ждали с гитарой.

Человек ко многому привыкает благодаря обстоятельствам. Постепенно. И тут вовсе не обязательны какие-нибудь снадобья или ломка психики. А вот так постепенно все в нем меняется, и былые представления становятся смешны, и страхи меркнут. Воистину не трагедии уже, а фарсы. Это не значит, конечно, что все одновременно и одинаково мудреют и облагораживаются: один побыстрее, другой помедленнее, а третий, правда, так и может умереть в прежнем безумстве, но это третий, а у тех двух все идет в нужном направлении. Вот так и Иван Иваныч постепенно избавился от своей напряженности и от своей лихорадки, которая, хоть он и скрывал ее от посторонних, и хорохорился, немало докучала ему. Естественно, каково это в каждом симпатичном встречном подозревать потенциального злоумышленника! Но, избавившись от этого ощущения, начинаешь чувствовать себя здоровевшим и почти счастливым.

И вот в Регенсбурге, едва выйдя на сцену, он тотчас увидел в зале, в первом ряду, улыбающихся Юру, Галю и Лену с Игнацем. Они кивали ему и подбадривали. Еще оставалось несколько минут до начала. Небольшой зал был переполнен. Иван Иваныч легко соскочил со сцены и на виду у Бориса Александровича и Лоткова пожал руки своим новым знакомым и обнялся со старыми друзьями — Леной и Игнацем.

История их вот такая. Игнац, польский еврей, жил до войны во Львове. Юный комсомолец, а затем коммунист. Конечно, подпольщик. Ну и тут все вполне хрестоматийно: тайные сборища, расклеивание листовок, аресты, побеги, мордобой и фанатическая приверженность идее, а впереди — мировая революция, а на востоке — Советский Союз — родина всех пролетариев, и Сталин, и счастливые надежды. Высокий, широкоплечий, сильный, как биндюжник, с детской улыбкой на крупном лице и мировой скорбью в иудейских глазах. А тут началась война, и Польша запылала, и все кончилось. Многие польские коммунисты после молниеносного падения своей страны получили приют в Советском государстве. Игнац был в их числе. Его направили в Среднюю Азию вести политическую работу среди польских беженцев. Уж какое тут было горение, какие страсти, какой труд без сна и отдыха — не передать. Правда, непосредственное знакомство с советской жизнью вызвало в молодом энтузиасте некоторое недоумение, но он отметал прискорбные черты и не расставался со своей пронзительной верой. Однако вскоре разразилась большая война. Беда была общей, общими были и надежды. Ему поручили теперь трудиться по созданию польских вооруженных сил. Тут уж он заработал с еще большим безумием, как вдруг в одну из прекрасных ночей за ним пришли, перерыли его

жалкий скарб и увезли его в местную тюрьму. Он еще продолжал по инерции выкрикивать всяческие привычные лозунги и клятвы, но его обвинили в шпионаже, дали ему пару раз под бока и отправили в Магадан. Не буду описывать его дорогу, его состояние, близкое к помешательству, его каторжные годы. Все было по самой высшей категории, но оказались рядом такие же несчастные умные люди, которые кое-что смогли ему разъяснить. О, как трагично было терять веру! Как долго сопротивлялась его пылкая душа! Но обстоятельства были немолимы, а он оказался понятливым учеником, и от бывшего фанатизма постепенно остались рожки да ножки и горькое ощущение напрасно потраченных лет.

Параллельно шла другая жизнь, жизнь Лены. Она была юной комсомолкой казачьего рода из кубанской станицы. Едва стало очевидно, что немцы, захватив Ростов, легко катятся к югу и скоро окажутся в долине Кубани, едва началась предштурмовая лихорадка, едва ей в руки попала сброшенная с немецкого самолета первая листовка с бездумной наглой песенкой красным шрифтом на желтоватой бумаге: «Ростов возьмем бомбежкой, а Кубань — гармошкой», едва это все случилось, как сердце у юной патриотки защемило, и она без долгих слов отправилась записываться в партизанский отряд и ушла с партизанами в качестве сестры милосердия. Молодая санитарочка сорок второго года, с удивительно синими глазами и насмешливым изгибом рта, хлебнула партизанской жизни, была ранена в голову, и ее, слегка приведя в себя в тайном партизанском лазарете, неведомыми тропами переправили за линию фронта к своим. У своих в госпитале она вылечилась, затем с нею побеседовали тихие вкрадчивые профессионалы, осудили за измену и отправили в Магадан. Там Лена и Игнац долго доходили, не пересекаясь, а познакомились уже спустя много лет после войны вольняшками. В местной больничке нашей медсестре приглянулся, как говорится, губастый хохотун, не потерявший человеческого облика, и его медовый польский акцент, и глубокая неизрасходованная нежность в детском взоре. В общем, притяжение было обоюдным, и медсестра вышла замуж за молодого санитаря. А тут, как в сказке, вышел приказ всех бывших польских граждан вернуть на родину. Представляете, что было? Какая радость, и слезы, и поцелуи... И они поехали и добрались до Варшавы, где совершенно нежданно Игнаца встречали старые его партийные товарищи, теперь уже достигшие больших высот. Они все, конечно, знали о постигших его мытарствах, хотя и им самим досталось предостаточно. Они разъяснили ему, что теперь наступает новая жизнь, что теперь-то уж партия не даст его в обиду, что он необходим для руководящей работы после всех чудовищных потерь. Но Игнаца, стреляного воробья, прошедшего магаданские университеты, уже нельзя было соблазнить ни лозунгами, ни властью. Какая все-таки полезная школа, если бы не кровавая отрыжка по окончании. Он и раньше кое-что пописывал, кое-что сочинял, так, как бы для себя, а тут наострился переводить с русского на польский, начал печататься, добрался до Ивана Ивановича, перевел несколько его стихотворений, побывал в Москве... Познакомились и прониклись друг к другу сердечным расположением. Лена работала в варшавской больнице. Родила дочь, через два года — другую. Еврейская и казачья кровь прелестно и многозначительно перемешались. И тут, как среди ясного неба, оказалось, что евреям в Польше не место! Те самые, что встречали Игнаца из Магадана, те самые вчерашние интернационалисты не смотрели ему в глаза. Что с ним было — не передать. Этот большой грузный мужчина, вдоволь нахлебавшийся из чаши бытия удручающей отравы, по ночам плакал навзрыд. Иммуниетет не помогал. Лена оказалась решительней, и, пока он, утирая слезы, спрашивал и спрашивал: «Мамочка, что же мы будем делать?» — она твердо решила: «Срочно уезжать, к капиталистам! Пока не поздно... Ты слышишь, Игнац, пока не поздно...» Что там, у капиталистов, она представляла смутно, но одно было ясно, что еврейско-казачьи ее отпрыски, ее Эвочка и Олечка, там будут в безопасности. Быстро они собрались, и прощай родина! Прикатили в Швецию почему-то. Там было сытно, чисто и тихо, но навалилась тоска, не хватало друзей, общения. Вскоре позвали их друзья из Мюнхена. Приехали. Почти без средств, без основательных перспектив, с тощей папкой переведенных на польский русских стихов. Кому они там нуж-

ны? Пустые хлопоты. Лена нанималась мыть полы, Игнац уже было начал судомойкой в каком-то кафе. Что угодно ради двух большеглазых, большеротых, ни в чем не повинных девчонок. Как вдруг радиостанция «Свобода» предложила Игнацу должность в польской редакции и квартиру. Ну и начали приходить в себя.

И вот теперь Иван Иванович обнялся с ними на виду у Бориса Александровича и Лоткова, которые, как ему показалось, уставились в него во все глаза. «Черт с ними!» — крикнуло в нем что-то отчаянное, ухарское, может быть, российское, а может быть, и кавказское — кто знает?

— А ваши кагебисты все видят, — предупредила Галя.

— Да никакие они не кагебисты, — сказал Иван Иванович, — я же вам рассказывал...

— Все равно, — засмеялась она своим меццо-сопрано, — что-то в них все-таки есть комиссарское.

— И комиссары в пыльных шлемах... — процитировал Игнац.

— Ну, это совсем другое, — протянула Галя.

Иван Иванович оглянулся на Лоткова. Тот сидел в кресле на сцене, бессмысленно уставившись в пространство, бледный и неподвижный. И вновь стало жалко его, хотя провинциал и вызывал некоторое раздражение.

— Галя, — сказал Иван Иванович, — я хочу вас попросить: не испытывайте на нем свое оружие. Он не соперник, он обыкновенный дурень.

— О! — удивилась Галя.

— Что? Что? — спросил Юра.

— Отар Отарыч просит пожалеть этого... Лоткова. А?..

Они засмеялись, и Юра тихо передал в зал своим просьбу Ивана Ивановича.

Борис Александрович отбивался в одиночку. Лотков сначала, по обыкновению, вздрагивал, когда к нему обращались с вопросом, но его спрашивали о пустяках. Над чем господин Лотков работает? Как протекает литературная жизнь в русской провинции?.. В конце концов он успокоился и к концу вечера выглядел победителем. Когда же все завершилось, он сказал Ивану Ивановичу:

— Старик, по-моему, они выдохлись... Знай наших!

Они должны были уже погружаться в машину, чтобы возвращаться в Мюнхен, как их окружили молодые люди и посыпались вопросы о Москве, о разных житейских российских мелочах. Затем подошел один, круглолицый.

— Меня зовут Эдик. Если вас интересуют книги, Отар Отарыч, я могу привезти вам в отель. Это бесплатно... какие хотите.

— Какие книги? — нервно спросил Лотков, оказавшись рядом.

— Любые, — сказал Эдик, симпатично улыбаясь.

— Советские издания? — прохрипел Лотков.

Все замолкли.

— Ну зачем же советские, — сказал Эдик, — наши, местные... какие пожелаете.

— Не нуждаюсь! — отрезал Арнольд.

Тут Иван Иванович, оценив ситуацию, произвел некоторые нехитрые расчеты и понял, что нужен обходный маневр, иначе действия Лоткова могут оказаться непредсказуемыми и даже опасными. Мгновенно перебрав возможные варианты, он остановился на одном, счастливом, и сказал умиротворяюще:

— Это замечательно... Вот Арнольд, например, обожает поэзию (а это было так на самом деле), — и подмигнул Эдику, — если бы вы могли достать ему четырехтомник Гумилева...

— Ах, — выдавил Арнольд, — неужели это возможно?

— Все возможно, — равнодушно сказал Эдик.

Однако всю дорогу до Мюнхена Лотков угрюмо молчал. Получалось так: с одной стороны — подозрительные белогвардейские издания и странная эмигрантская возня вокруг,

но с другой — любимый Гумилев, да к тому же бесплатно! Борьба в нем была жестока — Иван Иваныч догадался об этом с легкостью.

Уже поздно, за полночь, ввалились они в отель «Леопольд», и тут портье сообщил Ивану Иванычу, что ему звонили из Лондона и будут звонить снова. При этом надо было видеть, как в изумлении взлетели брови у Лоткова.

Иван Иваныч сидел в своем маленьком, неказистом номере и, замирая, ждал звонка. Подумать только — из Лондона! Вот оно, захлебнулся он, началось! Лондон, потом Париж, потом Нью-Йорк!... Вот как это происходит! Как стремительно, словно весенний поток, и так счастливо, и так заманчиво... Через границы, через всякие там запреты и недоброжелательство, поверх барьеров, на упругих крылышках...

Он забегал по номеру, впервые по-настоящему испытывая уколы тщеславия, его горячие щипки, и ароматное облачко искушения уже почти заволокло его, почти накрыло, лишило сил, и тогда он, собравшись, прибегнул к давнему спасительному средству: он умудрился выпростать голову из этого тумана и взглянул как бы со стороны на происходящее. Он увидел маленький номер заштатной гостиницы «Леопольд», а вот и он сам, тщедушный и сутулый, с уже поредевшим чубчиком, судорожно глотающий слюну и вдруг поверивший, что без него, без его, ну пусть и милых, даже трогательных, стишков некому будет осчастливить человечество. И вот он мечется по этому номеру, перебирая тоненькими ножками, вождьеленно дожидаясь звонка из Лондона (подумаешь, из Лондона!), вместо того чтобы рассмеяться и завалиться спать — пусть звонят. И тут он вспомнил недавний московский эпизод, как пришел он в одно очень высокое учреждение по вызову, как очутился в просторном кабинете и хозяин этого кабинета, о котором московские литераторы говорили почтительным полусшепотом и с презрительными гримасками, вышел из-за стола навстречу Ивану Иванычу и подал ему горячую руку. Потом они говорили о всяких литературных делах, пустых и необязательных, которые, это было видно, служили простым предлогом для знакомства, то есть тот говорил, а Иван Иваныч, по своему обыкновению, поддакивал, и тот, в частности, сказал:

— Тут вот что непонятно... Тут, с одной стороны, как будто бы ничего особенного... ах, Арбат, мой Арбат... ничего не скажешь — знакомая деталь, или, к примеру, полночный троллейбус... ну есть у нас полночные троллейбусы, ходят, подбирают москвичей... или это: ах, война, что ж ты сделала?.. Действительно, тоже известно. Столько разрушений, жертв, столько горя... Это с одной стороны. Но с другой — все это вызывает нездоровый ажиотаж, именно нездоровый, а потому что, когда это все подряд, без, как говорится, жизнеутверждающей прослойки, ну ни в какие ворота... Ах, ох, эх, понимаете? Или, например, война подлая... Это же кощунство, даже преступление, а? Ах, война, что ж ты сделала, подлая!.. Это для фашистов она подлая, но для нас... не так ли?

— Конечно, — согласился Иван Иваныч, склонный к компромиссам.

— Ну вот, можно, например, заменить словом, ну, например, «долгая»...

— Да, — сказал Иван Иваныч, — хотя рифма... «долгая» и «подняли» — наши мальчишки головы подняли — слабо.

— Да и шут с ней! — рассмеялся собеседник и дружески подмигнул, — подумаешь, рифма. Пишут же и вовсе без рифмы...

— Да, — согласился Иван Иваныч, ощущая, как ничтожны все эти слова, и словечки, и рифмы перед лицом этого холодного загадочного властелина.

Он ушел из этого учреждения, по обыкновению отряхнув перышки, и вновь продолжал выступать в разных полуправильных залах и пел: «Ах, война, что ж ты сделала, подлая!..» И ничего. Никто не трогал. И мысль о недавнем постыдном компромиссе не очень ему докучала. Но появилось одно беспроектное средство: стоило закружиться голове от восхищения только что нафантазированными свеженькими стихами, как словно кто-то ударял под локоток и рука тянулась к чужой книге, а там были такие стихи, такие стихи, что сразу же все становилось на свои места и незачем было суетиться и сучить ножками в предчувствии славы. Кто-

то очень бесчувственный и недобрый сказал как-то, что слава — штука посмертная. Как ни горько было это слышать — на том и порешили.

Он заметно успокоился, собрался было улечься, как позвонили из Лондона.

— Господин Отар Отарыч, — отчетливо проговорили в трубке, — с вами говорит Смит из «Гардиан».

— Очень приятно, — сказал Иван Иванович, удивляясь чистому русскому произношению мистера Смита.

— Я бы хотел взять у вас интервью...

— По телефону? — удивился Иван Иванович.

— Нет, зачем же, — рассмеялся мистер Смит.

— А вы где?

— Я в Лондоне, но прилечу, если вы...

— Пожалуйста, когда?

— Ну, допустим, послезавтра утром, если вы не против.

— Пожалуйста, — крикнул в трубку Иван Иванович, — прилетайте.

Он глянул в зеркало. Там суетился некто с голодным блеском в глазах и с широко раскрытым ртом... «Кто этот безумец?» — спросил он, уже приходя в себя и даже торжествуя. Он восхитился легкостью, с которой мистер Смит делал свои дела. Так в восхищении и заснул.

На следующий день под вечер явился Эдик с большой сумкой, набитой книгами. Четыре тома Гумилева Иван Иванович сразу же отложил в сторону и принялся разглядывать остальные. Обложки жгли руки. Одно название было замечательнее другого. Мысль о том, что это предосудительно, пока не возникала. Пальцы дрожали от вожделения и фантастичности происходящего. «Портреты революционеров» Л. Троцкого, «КГБ» Д. Барона, «История русской смуты» А. Деникина, «Смысл истории» Н. Бердяева, «Лолита» В. Набокова и множество других, столь же прекрасных и бесценных! О любопытство, что сильнее страха! О искушение, сладчайшее и непреодолимое! О чудо, сотворенное его песенками, чем же еще?!

Эдик исчез, оставив гору драгоценных книг. На прощание сказал:

— Если что еще надумаете, пожалуйста, — мне ничего не стоит.

Оставил номер телефона.

Иван Иванович, утерев со лба пот, словно после удачной охоты, полюбовавшись своим богатством, разложил книги в чемодане и вдруг сообразил, что пот-то холодный! И тут же кто-то стукнул в дверь, едва-едва. Он замер. Стук повторился. Иван Иванович взглянул с ужасом на чемодан, распухший от книг, и обреченно распахнул дверь — за нею никого не было. «Перст судьбы», — жалко усмехнулся он и позвонил в соседний номер к Арнольду.

— Лотков, зайди ко мне.

Арнольд, одуревающий от вечернего одиночества, явился тотчас же.

— Вот, — небрежно сказал Иван Иванович, — это тебе, — и ткнул пальцем в четырехтомник.

Арнольд вспыхнул, протянул к книгам свою широкую крестьянскую ручищу, зажмурился, коснулся обложки скрюченным пальцем и тотчас отскочил.

— Старик, — прохрипел он, — кто этот человек?!

— Да ты что, — рассмеялся Иван Иванович. — Дарят — бери, Гумилев все-таки...

— Но ведь я должен знать, от кого принимаю, — застонал Лотков, не отводя взгляда от четырехтомника.

Иван Иванович подкупал Лоткова сознательно и жестоко. Арнольд должен был обзавестись книгами во что бы то ни стало, чтобы конец веревочки надежно покоился в пригоршне Ивана Ивановича.

— Это что... какое... это издательство «Посев», — выдал из себя Лотков непроизносимое там, в Москве, слово, — кто он такой? Почему бесплатно?..

— При чем здесь «Посев»?! — возмутился Иван Иванович, нагледя. — Это мой знакомый. Просто он добрый человек. Он знает, что для нас значат эти книги... Бери, Арнольдик, наслаждайся. А ему это ничего не стоит, поверь мне. Подумаешь, какие-то сто марок...

И тут Арнольд засопел, и большая слеза как бы случайно выкатилась из его глаза.

— Старик, — сказал он в потолок, — кто же нас сделал такими?.. Ну кто?.. Отчего так?.. — Потом помолчал и сказал капризно, но твердо: — И все-таки... от кого этот подарок?.. Что я скажу?..

«Бедный Арнольд», — подумал Иван Иванович, наблюдая, как страх и вождление сотрясают этот мощный организм.

— Знаешь, — сказал он с интонациями родственника, обрадовавшись спасительной мысли, — а знаешь, Арнольдик, чем ломать голову, считай, что это я тебе подарил! От меня-то почему бы тебе не взять? Верно? Бери, Арнольд, бери, не усложняй...

Соблазн пересилил, и Лотков, помявшись еще мгновение, протянул свои ручищи:

— Ах, ну если ты... — и обхватил все четыре тома, — если это ты мне даришь... — и прижал их к широкой груди, — от тебя я приму... ты купил и подарил... я приму... — И он медленно двинулся к двери, обнимая книги, словно последнее дитя, обретенное им в трагических обстоятельствах. Так он двигался, и неловко кланялся, и растерянно улыбался.

— Взят? — поинтересовался Эдик, когда они встретились снова.

— Взят, — сказал Иван Иванович, — у него дрожали руки...

— Если вы захотите, — сказал Эдик, — я могу снабжать вас книгами и в Москве.

Иван Иванович расширил глаза. Это была абсолютная фантастика.

— Как же вы их провезете? — спросил, сдерживая дыхание.

— Это наша забота, — улыбнулся Эдик, — придет наш человек и доставит вам книги. Согласны?

— Эдик, — сказал Иван Иванович, переходя на привычный шепот, — как же я узнаю, что это ваш человек? А если это провокация? У нас ведь это умеют...

— Знаю, — Эдик был совершенно спокоен, — договоримся. Видите ли, есть различные способы: например, — он порылся в портфеле, извлек тонкую миниатюрную брошюрку, оказавшуюся стихами молодой Риммы Казаковой, — берем эту книжечку вот так, затем вот так разрываем ее, — и он разорвал книжку пополам, — эту половинку берете вы, ну берите, берите, а вторую предъявляет вам наш человек...

У Ивана Ивановича дух захватило от предстоящей опасности, но он не подал виду и нашел в себе силы очаровательно улыбнуться.

— Вас устраивает? — буднично поинтересовался Эдик. — Значит, ждите, — и упрятал свою половинку в портфель.

Иван Иванович поймал себя на том, что, несмотря на страх, испытывает удовольствие от посвящения в тайну.

— Эдик, — спросил он, — как же вы все-таки переправляете книги? Ведь славные пограничники, таможня, всякие там приемы...

— Ну, способов много, — сказал Эдик, — разные люди везут, командированные, например, рискуют, конечно, ну кого-то ловят, а кто-то и проскакивает, а если в больших количествах — то моряки...

— ?

— Ну есть у нас обширная сеть среди моряков, — рассмеялся Эдик, — мы им иногда даже немножко валюты подбрасываем, немножко, конечно, в виде поощрения, это, конечно, не военные моряки, не подумайте, — торговые...

— И потом?

— Ну а потом они толкают все это в русском порту перекупщикам, а те — на черный рынок, и всем удовольствие...

— А потом их хватает майор Пронин...

— Не без этого, — спокойно согласился Эдик, — торговля всегда риск, — и рас- смеялся.

На следующее утро Иван Иванович ждал своего лондонского гостя. И он явился.

Серый костюм как от варшавского портного. Роговые очки на мясистом лице. Лет сорока пяти. Высоченный, еще не страдающий от недавно пришедшей тучности. Видимо, общитель- ный: на пухлых губах располагающая улыбка. Видимо, достаточно деловой: шутка ли — из Лондона да в Мюнхен из-за какого-то Ивана Ивановича...

— Прошу простить меня, — сказал мистер Смит, устроившись в кресле, — я не мистер Смит... Я Джон Глофф.

Иван Иванович чуть было не вскрикнул, увидев перед собой скандального издателя своего английского диска, однако сдержался и выглядел вполне пристойно.

— К чему же весь этот камуфляж? — спросил, лениво пожав плечами.

— Да видите, какая штука, — сказал гость, — я боялся, что вы не захотите со мной встретиться...

— Почему? — слукавил Иван Иванович.

— Ну мало ли... У вас обо мне черт знает что болтают: то я агент ЦРУ, то я чуть ли не сотрудник КГБ, — и расхохотался, — а я ни то, ни другое, а просто издатель.

— Ну допустим, — сказал Иван Иванович, вступая в таинственную сень еще не из- веданных западных игр, — допустим. Но с чего это вы вдруг издали пластинку с моими песнями?

— А я люблю ваши песенки, — признался Глофф. — Когда они ко мне попали, я захо- релся, я даже не думал о коммерческом успехе, просто загорелся. И издал... Я очень люблю ваши песенки... — И расхохотался. — Я, знаете, привез эти пластинки в Париж, принес их в магазин к Морозову... Морозов? Это директор магазина русской книги. Но он, к сожалению, был в отъезде, а там сидел лишь главный бухгалтер, он послушал, поморщился и говорит: ну разве это искусство? Нет, мы не будем этим торговать. Я еле уговорил его взять две-три пла- стинки, попробовать... И вдруг распродали! — Он захохотал. — И пошло, пошло... Бухгалтер обалдел... Я люблю ваши песенки, но тут приятное с полезным... Я ведь знаю, как ваш режим к вам относится. И я таким образом воткнул перо вашему режиму, — и захохотал, — это ба- а-альшее удовольствие!.. Вам, конечно, привезли диск? Вам было приятно?

Иван Иванович рассказал, при каких обстоятельствах он видел пластинку. Глофф похо- хатывал и потирал руки. Беседа получилась располагающей. Было ощущение давнего зна- комства.

— Вы хотели взять интервью? — спросил Иван Иванович.

— О да, — сказал Глофф, — и в самом деле, — захохотал и вытащил из кармана помя- тые листки, ручку. — Ну, давайте: над чем вы сейчас работаете?

— Пишу стихи, — недоумевая, сказал Иван Иванович, — немного прозу.

Глофф почиркал пером как-то уж очень небрежно, из-под очков внимательно оглядел Ивана Ивановича. Образ агента ЦРУ заколебался в сознании.

— Вы меня разглядываете несколько подозрительно, — сказал Глофф, — интересно, о чем вы сейчас думаете? Вы разглядываете меня как-то сверху, будто вы совсем безгреш- ный человек, ну, может быть, чуть-чуть совсем, — и хохотнул, — а можно ли быть безгреш- ным в вашей стране?.. Если послушать официальную пропаганду — вы там все непорочные ангелочки, да? А я бяка, да?.. Ну ладно, я вас действительно люблю, у меня никаких задних мыслей.

— Ну уж грехов-то у меня... — присвистнул Иван Иванович.

— Ладно, — сказал Глофф грустно, — это просто шутка, такая шутка... Но я не агент ЦРУ...

— А как это вы так хорошо знаете русский? — спросил Иван Иванович, чтобы не усу- гублять.

Глофф подумал, подумал. Это продолжалось довольно долго. Затем смачно расхохотался и сказал:

— Да потому что я никакой не Глофф... Я Иван Углов из Рязани! — и затрясся от удовольствия, видя перед собой совершенно растерянного собеседника. — Да, да, — выдохнул он, — вот именно. А вы-то думали!..

— Как же это? — промямлил обескураженный Иван Иванович, и образ агента КГБ замельтешил перед глазами.

— Очень просто, — сказал, перестав смеяться, Углов, — родился в Рязани. Отец был большевиком. Уехали всей семьей в Бессарабию. Началась война. Пришли румыны. Отец в подполье. Я участвую в молодежном движении. Дальше — больше. После войны учусь на инженера. Служу в строительном министерстве. Начинаю постепенно прозревать, ну что-то мне это все не нравится, понимаете? Даже отвратительно, однако ни с кем не делюсь, выкрикиваю лозунги, просто ору на каждом перекрестке... В пятьдесят шестом еду в служебную командировку в Венгрию (слава богу!), а там восстание. Я подумал, подумал и решил махнуть в Канаду, через Лондон. В Лондоне удачно опубликовал несколько технических статей, заработал; думаю: зачем мне в Канаду, когда и здесь хорошо? И остался, вот так.

— И что же теперь?

— Книжечки издаю на русском языке, журнальчик со всякими пикантными историями из вашей жизни, — и вновь хохотнул, — распространяю в Стране Советов, хотя не могу сказать, что это легко... Вот вашу пластиночку...

— Неужели это дает хорошие деньги? — спросил Иван Иванович, оглядев элегантного Углова.

Тот расхохотался.

— Я, мой дорогой, зарабатываю изданием технических словарей. Это очень ходовой бизнес...

— А книжечки, журнальчики, пластиночки?

— Ну, это хобби, на этом не заработаешь... Зато я таким образом втыкаю перо коммунистам! Чем смешнее, тем лучше. Пусть знают...

Иван Иванович умолчал о том, что и он член партии. Не хотелось придавать этой однозначной беседе более глубокий смысл. Да и что объяснишь? И тут он вспомнил похождения в России жены Углова и свою роль в этом и покраснел. Он вспомнил всю эту нелепую детективную историю, и чувство вины в который уже раз больно задело его.

— Кстати, — спросил он как бы между прочим, — благополучно ли вернулась ваша жена из России в Лондон?

— Какая жена? — удивился Углов. — У меня нет жены...

— Ну эта, — удивился и Иван Иванович, — которая приезжала за рукописями всяких диссидентов.

— А-а-а, конечно, — рассмеялся Углов, — ну конечно... Это была не жена, а одна из моих помощниц. Все в порядке.

— И ее выпустили с набитым чемоданом?

— О да, все в порядке.

— Странно, — промямлил Иван Иванович, — и ее не досматривали на границе?..

— Бог спас, — расхохотался Углов. Иван Иванович был в оцепенении. Тут он вспомнил, как совсем недавно одна итальянская дама вывозила из Москвы роман Солженицына, тайком конечно. Ну, ее крепко трясли на границе, довели почти до обморока, а потом аккуратно уложили все рукописи в чемодан, как было, и она благополучно пересекла границу. Тогда шел по кухням разговор, что КГБ торгует запрещенными рукописями... И вот теперь эта мистика. Иван Иванович взглянул на Углова. Тот был элегантен и улыбчив, улыбчив и элегантен. Он подарил Ивану Ивановичу настольную зажигалку отличной работы. Иван Иванович, конечно, умолчал о своей неблагоприятной роли в истории с угловской помощницей...

— Неужели вам даже пощупать пластинку не позволили? — спросил Углов. — Ну и анекдот! — И добавил удовлетворенно: — А они меня здорово боятся! Ничего, они еще у меня попляшут... Между прочим, в последнем номере моего журнальчика собраны анекдоты о Брежневe. Крепче насолить невозможно.

Вдруг Ивану Иванычу показалось, что кто-то топчется за дверью.

— Одну минуточку, — сказал он, встал и распахнул дверь.

В коридоре было пусто. Улыбка сошла с лица Углова.

— Ого, — изумился он, — вы, значит, на стрёме?

Иван Иваныч развел руками.

— А серьезные материалы вы в журнале публикуете? — спросил он.

— А зачем? — рассмеялся Углов. — Уровень ваших властителей не для серьезной полемики. Матерные анекдоты — вот их уровень. Моя задача — довести их до пены, и все. Вас это удивляет?

— Нет, — сказал Иван Иваныч с достоинством, — чего удивляться? — и вдруг произнес неожиданно для самого себя: — Я не удивлюсь, даже если узнаю, что вы агент КГБ...

Углов расхохотался.

— Правда, правда, — сказал Иван Иваныч, — се ля ви... Когда обратно в Лондон?

— Завтра в полдень, — сказал Углов.

— А что же интервью?

Углов снова расхохотался.

— Да ну его к черту! — сказал он. — Да оно ни при чем. Просто я хотел повидать вас.

На следующее утро он позвонил.

— Я хочу забежать к вам, передать пластинку и попрощаться.

Углов вошел не один. Верзила в таком же сером элегантном костюме, круглолицый, со жвачкой во рту, без интереса кивнул Ивану Иванычу.

— Я на минутку, — сказал Углов и ткнул пальцем в грудь незнакомца, — это мой друг и меценат из Штатов, по-русски не понимает ни слова, большой болван, но миллионер, и я его удачно облапошиваю... пока, — и захохотал.

Иван Иваныч деликатно улыбнулся (а что было делать?). Миллионер тотчас взгромоздился почему-то на кровать, хотя в номере были стул и кресло. Лицо его выражало скуку. Иван Иваныч как-то между прочим подумал, что рожа у миллионера весьма рязанская.

— Да вы не обращайтесь на него внимания, — сказал Углов, — болван и болван... А вот вам пластинка! — и протянул вожделенный диск.

Иван Иваныч ухватил его потными дрожащими ладонями и погладил слегка как раз по тому месту, где крупно отпечаталось его лицо с нелюбимой им фотографии, изможденное, застигнутое врасплох, чужое, с глазами, выражающими вожделение, но одновременно и лукавство, и уж тут что есть: ни скрыть, ни украсить.

3

Наконец растаяли две мюнхенские недели, и пора было возвращаться. Обратная дорога была бы совсем неприметна, как, скажем, от Мамонтовки до Ярославского вокзала, если бы не вновь дорожные эмоции бедного Арнольда. Он привык к Мюнхену за эти две недели и в общем успокоился, Мюнхен ему понравился, но перед отъездом он стал задумчив и на вопросы отвечал невпопад. Дорога через ФРГ теперь оказалась, как я уже сказал, вполне привычна. Арнольд поглядывал на уже знакомые пейзажи со спокойной ленцой завсегдатая. Лицо его несколько напряглось, когда покатили по ГДР; контраст-то все же был заметный. А вот в Польше черты его попросту исказились и ужас заметался в цыганских глазах: сравнение было вовсе не в пользу славянского соседа. На границе все прошло спокойно: делегацию не

досматривали, и, вздохнув с облегчением, они покатали по родимым весям. И вот тут Арнольд застонал, отворотился от окна, сел, согнулся, упрятал лицо в ладони и не сказал до Москвы ни слова. Поесть его уговаривали, словно ребенка. Иван Иванович сначала, наблюдая судороги Арнольда, чуть-чуть даже позлорадствовал, но вскоре жалость пересилила.

Спустя несколько дней на секретариате Союза писателей обсуждалась, как это водится, их поездка. Генерал Филин присутствовал тоже. Обсуждение шло умеренно и так бы и закончилось, но вдруг шлея, что ли, попала под хвост одному из секретарей, редактору писательской газеты, и он своим отвратительным, скрипучим голоском заявил, что Отар Отарыч, как стало ему известно, вел себя в Мюнхене предосудительно, ибо давал интервью солдатской фашистской газетенке, вместо того, чтобы по-партийному врезать реваншистам... Ну что это значило, это выливание грязи, сказать сейчас трудно. Может, это было минутное старческое помутнение, а может, личная неприязнь к Ивану Ивановичу, хотя я-то вижу в этом не что иное, как простую склонность к подлости, давнюю и устойчивую.

Иван Иванович обмяк весь, зная секретарские нравы и обычаи: раздувание дела, проработки, допросы, и все это с унижением, с последующими санкциями, запретами, и фантазия подливала масла в огонь, рисуя страшные картины отлучения и административной казни, а тут еще скрипнула дверь, отчего спина Ивана Ивановича похолодела, хотя это вошла сотрудница с какими-то деловыми бумагами, а тут еще гробовая тишина в комнате — и ни сил, ни слов, ни аргументов в свою защиту; и Иван Иванович понял, что вот сейчас простодушный Арнольд возьмет свое и расскажет почтенному собранию о «Посеве» и «Свободе», о книгах, провезенных в Москву, и зашатаются благополучные пейзажи, и секретариат еще неистовее ахнет... «Все пропало, — подумал Иван Иванович, видя перед собой лишь затылок Арнольда, — вот болван! Неужели он не понимает, что и я расскажу о его книгах?!»

Тишина была предгрозовая. Филин вперил бледные неподкупные глаза в Ивана Ивановича, он сжимал белые губы, словно перед зачитанием приговора... И вдруг перед Иваном Ивановичем вознеслась широкоплечая фигура Арнольда, и Лотков произнес четко и жестко, что Отар Отарыч давал интервью не какой-то там солдатской газетенке, а главной и официальной, очень даже либеральной газете Баварии, что вел себя Отар Отарыч достойно и по-партийному и на самые каверзные вопросы отвечал остроумно и резко, что Отар Отарыч... Отару Отарычу... Отара Отарыча...

И тут тоненько, по обыкновению облегченно и торжествующе, засмеялся в тишине Филин, и подмигнул Ивану Ивановичу, и победно глянул на поверженного доносчика.

Все оборотились к Ивану Ивановичу с доброжелательными улыбками. «Ну и Арнольд!» — подумал Иван Иванович с восхищением и признательностью и тут же поставил себя на его место, отчего поступок Арнольда выглядел еще прекраснее и значительнее.

Прошло несколько дней. Иван Иванович сидел перед почти законченным романом, но сюжет расплывался, герои страдали косноязычием, и, как ни странно, сквозь этот досадный сумбур то и дело проступала респектабельная фигура Ивана Углова, его очки в роговой оправе, за стеклами которых таилось черт знает что, и слышался его хохот, и предполагалась злодейская интрига. А Ивану Ивановичу было это совсем ни к чему. Он нуждался в покое, он хотел жить по собственному усмотрению. Жизнь ведь была одна, да к тому же короткая, и прожить ее нужно было так... как диктовала ему его собственная фортуна, пусть не слишком снисходительная, но зато своя. А все эти давления со стороны, все эти унижительные тупики, и ловушки, и лабиринты, и интриги — все это сбивало с ног, сгибало спину, и нужно было мужество, которого не было, иммунитет, которому не хватало концентрации, трезвый расчет, при котором почему-то всегда приход не сходился с расходом. Да, и вот теперь этот Углов, не идущий из головы. Кто он? Что может означать стремительно выпущенный им диск с пленок домашнего производства, на котором явственно прослушиваются кухонные звучания, голоса собравшихся, звонки телефонов, позвякивание бокалов и вилок? Какие силы скромно стоят за спиной этого лондонского издателя? Диктует ли кто-нибудь ему зловещие поступки, или

он — заурядный ерник и хохотун, празднующий свое высвобождение из социалистического лагеря? А ненависть к нему генерала Филина — не тонкая ли игра? Уж не выстукивает ли он с помощью морзянки в Москву привычные шифры о встрече в Мюнхене?.. Иван Иванович сперва решил, что все это чудовищная галиматья, вздор, но напряжение не исчезло. На всем какая-то грязь, думал он, торопясь к генералу в Дом литераторов, чтобы опередить возможные сигналы Углова, грязь, что-то во всем нечистоплотное, думал он, липкое, мерзкое, думал он и посмеивался над собой, и унижал себя самого.

А генерал, словно предчувствуя встречу, спускался по лестнице и, наклонив голову, разглядывал Ивана Ивановича, но как победителя на недавнем секретариате, как удачника. И сказал, осклабясь:

— Ну, знаешь, я вчера решил, что тебе конец, ей-богу, но каков Арнольд! Я видел, как позеленел твой антагонист... — он торжествовал. Кто знает, какие их внутренние дела переместились с места на место, под кем из них заколебались пространства, чей нож оказался острее, кто из них после заседания опрокинул стопочку в знак восхищения фиаско соперника, а кто бил посуду с молчаливым ожесточением. Конечно, Иван Иванович не был посвящен в эти изысканные взаимоотношения писательских начальников, хотя о многом догадывался, глядя на торжествующего генерала. И тут он с несвойственной ему безжалостностью и сарказмом шепнул Филину:

— Вам привет от нашего общего друга...

— Кого ты имеешь в виду? — спросил генерал строго, зная, что общих друзей у них нет.

— От Джона Глоффа, — усмехнулся Иван Иванович.

— Ты встречался с этой скотиной?! — прошипел генерал, и лицо его покрылось красными пятнами.

Иван Иванович был очень внимателен, и потому в восклицании Филина увиделось ему не сверканье жаркой молнии, а холодная вспышка электрического фонарика. Он хорошо это различил, и это усугубило его подозрения.

— Пойдем-ка, — распорядился генерал и заторопился в свой кабинет и там спросил, неумело притворяясь равнодушным: — Ты действительно с ним встречался?

— Да, — сказал Иван Иванович, — как с вами.

Ему было любопытно видеть генерала растерянным. Ему вспомнилась недавняя история, о которой много говорили в писательских кругах. Примерно с год назад группа московских писателей отправилась в Лондон. Возглавлял ее генерал Филин в качестве публициста. Этот камуфляж его несколько удручал, ибо генерал, к чести его, не был тщеславен. Он был впервые на Западе, и все там раздражало его и даже приводило в неистовство. Больше всего держала его в напряжении возможность провокаций со стороны ЦРУ, Интеллиженс Сервис и прочих служб. Молодые литераторы, которых ему было поручено сопровождать, доводили его до умопомрачения доверчивостью, легкомыслием, излишней восторженностью и чрезмерной практичностью, которая была в них ключом, приманивая толпы развязных чудовищ, именовавших себя журналистами и даже писателями, и только генерал видел их насквозь. Он предупреждал своих подопечных, не повышая голоса, сквозь зубы, но влияние его ослабевало с каждым часом.

— Какая витрина! — восторгалась поэтесса Римма.

Генерал вглядывался в витрину.

— Безобразие! — с отвращением выдавливал он.

Или поэт Андрияша, намазывая тост маслом, произносил, воркуя, а может быть, даже провоцируя оргсекретаря:

— А тостики у них ничего, а?

— Безобразие! — угрюмо припечатывал Филин, дожевывая очередной тост.

Возмущение его было искренним. Он не заблуждался относительно происков буржуазных разведок, и его не обольщал этот пропагандистский камуфляж с витринами и хрустящими

тостами. И он не винил своих молодых друзей, он опекал их с той же безупречностью и решительностью, с которыми в начале двадцатых в составе Одиннадцатой Красной Армии победоносно вступил в Грузию. Кстати, отец Ивана Ивановича встречал Одиннадцатую армию и кричал «ура» по-большевистски самозабвенно. Может быть, они там познакомились и даже перекинулись парой фраз... Отцу тогда было двадцать лет. Тогда они, взявшись за руки, совместными усилиями опрокинули грузинских меньшевиков в мягкие воды Понта Эвксинского и навсегда выдворили их на чужбину. Кажется, Ф. Вигель заметил однажды, что плохая монархия чревата республикой, а плохая республика — тиранией. Теперь Филину было под семьдесят. Он знал цену неумеренным восторгам по поводу хрустящих западных тостов. Он знал, что те самые поверженные меньшевики бодрствуют на чужбине и все помнят, и они, и их дети, и их внуки, и те, кто, изловчившись, присоединился к ним впоследствии. Но совесть его была чиста перед ними. Он не испытывал угрызений в связи с тем, что лишил земли и дома людей, волею судеб оказавшихся слабее его и неугодных ему. Как он радостно ржал на потийском причале, когда они уплывали черт его знает куда, согнутые его верой и самодовольством! А тут, в Лондоне, на очередном поэтическом вечере он обратил внимание на Джона Глоффа, развалившегося в первом ряду и нацелившего маленький магнитофончик на сцену. А как раз выступал Андрюша. Что уж там всплеснулось в воспаленном профессиональными тонкостями мозгу оргсекретаря, сказать трудно, но, когда вечер уже подходил к концу, он шепнул молодому поэту несколько слов о происках вероятного цереушника и добавил:

— Учти, это в целях провокации...

Андрюша всмотрелся в очкастого самодовольного верзилу с магнитофоном на коленях и тут же понял, что нужно делать. Едва закончился вечер, как он легко соскочил со сцены, выхватил у растерявшегося Глоффа магнитофон и извлек из него кассету и, широко улыбаясь, стремительно исчез, сопровождаемый возмущенными криками Глоффа.

— Это воровство! — кричал Глофф. — Я вызову полицию! Полиция!..

Генерал Филин побледнел. Он не ждал такого разворота. Он побежал в отель. Едва он вошел в номер к Андрею, как туда ввалились полицейские с Глоффом.

Поэт был спокоен. У оргсекретаря тряслись руки. Глофф потребовал наказать вора. Тут все заметили на круглом столике включенный магнитофон.

— Вы украли у этого господина кассету, — сказал несколько растерянный полицейский.

— А этот господин украл мой голос, который я вернул обратно, — совершенно спокойно, с улыбочкой произнес Андрюша.

— А где же кассета этого господина? — спросил полицейский. — Не считаете ли вы, что должны вернуть ее владельцу?

— Оф кос, — сказал Андрюша, — теперь, когда я стер свой голос, я непременно верну кассету.

В этот момент магнитофон щелкнул. Поэт извлек кассету и вручил ее полицейскому. Генерал Филин тоненько захохотал. Возмущенный Глофф вышел из номера... Впоследствии он отомстил поэту: в одном из своих журнальчиков он опубликовал очерки об интимных похождениях Андрюши в Лондоне.

Вот такая история. За что купил, за то и продаю.

— ...Ты действительно с ним встречался? — спросил оргсекретарь, стараясь выглядеть равнодушным.

— Как с вами, — подтвердил Иван Иванович.

— Так рассказывай же, — выдавил Филин, сел, встал, прошел к окну, снова сел, уставившись в Ивана Ивановича бледными глазами, внезапно резко вскочил: — Погоди! — и выбежал из кабинета. Вернулся через две минуты в сопровождении старушки с большим блокнотом. Она приветливо улыбнулась Ивану Ивановичу и разложила блокнот на столе. Он догадался, что это стенографистка. — Ну, — приказал Филин, и Иван Иванович начал подробный рассказ.

Он старался быть объективным, но при этом не скупился на украшения: то ли пугал генерала, то ли пытался рассмешить и был крайне внимателен, не упускал генеральской мимики и его интонаций, когда тот вдруг восклицал, хлопая ладонью по столу: «Так и сказал?!» или «Ну и скотина!!»

И вот наконец Иван Иванович, хохотнув голосом лондонского знакомого, выговорил: «А я не Глофф, я Иван Углов из Рязани!..» В этот момент оргсекретарь, страшно покраснев, вскочил, выбежал из-за стола, крикнул: «Погоди!» — и исчез из кабинета.

Было тихо. Вымуштрованная стенографистка сидела неподвижно, как мышка, и только легкая улыбка сочувствия и недоумения пошевеливала ее губы. Иван Иванович закурил, довольный произведенным эффектом. Однако прошло с полчаса, а Филина не было. Стенографистка по-прежнему улыбалась. Иван Иванович, нервничая, представил себе такую иллюстрацию к собственным подозрениям: генерал кинулся к телефону, позвонил некоему лицу в госбезопасности и шепотом доложил, что Иван Углов в Лондоне саморазоблачился!..

— Вы знаете, — сказал Иван Иванович стенографистке, — прошло больше часа. Пожалуй, можно расходиться, — и ушел.

...Но вот что самое интересное: проходили дни, месяцы, даже, пожалуй, годы, но, сколько Иван Иванович ни встречался с генералом, тот ни разу не поинтересовался, а что же там было дальше, после того как Джон Глофф превратился в Углова. Не странно ли? Не подтверждало ли это хитроумную догадку Ивана Ивановича, что существовала загадочная связь меж лондонским ерником и всеильным заведением на Лубянке?

Потом уже произошло событие, которое лишней раз подтвердило справедливость этой догадки. Когда злополучная рукопись С. Аллилуевой готовилась к изданию на Западе, в недрах этого учреждения был изготовлен более щадящий, менее резкий вариант, и нужно было, опередив всех, опубликовать его до выхода в свет того, подлинного экземпляра. Тогда небезызвестный Виктор Луи с поддельным экземпляром вылетел, ну конечно, в Лондон и вручил его, ну конечно, Глоффу, и тот мгновенно опубликовал книжицу и большим тиражом, и с прелестной, возбуждающей интерес публики рекламой, так что книга была моментально раскуплена, а уж потом вышла та, подлинная, но ее уже не покупала пресыщенная западная публика. Вот какая была история, которая задела и Ивана Ивановича, словно он и вправду был крупным политическим игроком.

4

Теперь осталось рассказать о последнем эпизоде этой на сегодняшний глаз нелепой, но по тем временам вполне обыденной (уж поверьте) истории.

В одно прекрасное утро, когда Ангелина Петровна отправилась по магазинам, Иван Иванович, наскоро позавтракав, принялся было за работу, но, как говорится в старомодных романах, не успел он еще вникнуть в существо дела, как в дверь резко позвонили. Он никого не ждал. Ангелина Петровна не могла вернуться так быстро. Кроме того, у нее были ключи. Он с досадой подумал, что это почтальон, и пошел открывать.

И вновь резко позвонили. И это показалось не очень приятным. Коридорчик, по которому Иван Иванович шел к двери, оказался странно длинен, и звонок теперь уже звонил не переставая и так требовательно, так нетерпеливо, что дурные предчувствия сдавили грудь, и побежал на ватных ногах, или это ему так показалось, и отодвинул щеколду.

За дверью стоял незнакомый мужчина. Он был в таком невероятном плаще, шелковистом, переливающимся, изысканном, каких в Москве еще и не бывало, что Иван Иванович сразу догадался, откуда этот человек. Незнакомец кивнул и, жестко отодвинув Ивана Ивановича, вошел в прихожую. Едва Иван Иванович начал было размышлять о возможной зловещей принадлежности гостя, потому что мало ли что плащ, в который мог вполне одеться и доморощен-

ный полицейский... Увидев оцепеневшее лицо Ивана Ивановича, гость протянул ему половинку книжечки. Иван Иванович все тотчас вспомнил. Он вздохнул с облегчением и повел гостя в комнату. И там вытащил из тайных своих закровов вторую половину и приставил ее к первой. Все совпало. Иван Иванович рассмеялся. У гостя было каменное лицо.

Иностранец, как выяснилось, по-русски не говорил. Жестами попросил ножницы и, когда получил их, распахнул плащ, отогнул полу пиджака и взрезал подкладку. Оттуда он вытащил серую брошюрку. Бросил ее на стол и отправился обратно по коридору. Когда за ним захлопнулась дверь, Иван Иванович подошел к окну: гостя ждало такси.

Серая брошюрка одинокой уликой лежала на столе. Она была издана в зарубежном издательстве с непроизносимым названием «Посев». На обложке стояло незнакомое имя — Андрей Сахаров.